



Мастера
израильской прозы



Бениамин Таммуз

Реквием по Нааману

Давид Шахар

Сон в ночь Таммуза

Давид Шахар

Сон в ночь Таммуза

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2806335

Реквием по Нааману / Б. Таммуз. Сон в ночь Таммуза / Д. Шахар / [Пер. с иврита Э. Бауш].: СИВАН, КНИГА–СЭФЕР; Тель-Авив, Москва; 2006

Аннотация

Давид Шахар, великий мастер описания страстей человеческих, возникающих не просто где-то, а в Иерусалиме. «Сон в ночь Таммуза» почти дословный парафраз шекспировского «Сон в летнюю ночь» – переплетения судеб, любви, измен и разочарований, завязка которых – в Иерусалиме 30-х годов, Палестине, периода британского мандата, необычном времени между двумя мировыми войнами. Художники, поэты, врачи, дипломаты – сейчас бы сказали «тусовка», тогда – «богема».

Страницы романа пронизаны особой, левантийской эротикой. Может быть и поэтому он так популярен во Франции, где роман получил ряд престижных литературных премий и входит в список самых популярных переводных литературных произведений.

Содержание

Под знаком Таммуза	4
Сон в ночь Таммуза	10
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Давид Шахар

Сон в ночь Таммуза

Под знаком Таммуза

Таммуз – месяц еврейского календаря, четвертый по Библии, десятый в более позднее время.

Семнадцатое число летнего месяца Таммуз, согласно Талмуду, – дата великой скорби, ибо в этот день пророк Моисей в гневе разбил скрижали Завета, в этот день прекратили богослужение в Храме во время осады Иерусалима римлянами. И это ощущение осады и безвыходности из теснин смерти длится три недели – с этого дня до девятого Ава, когда был сожжен императором Титом Иерусалимский Храм.

Но Таммуз это еще имя языческого бога финикийцев, которых древние евреи называли «кнааним», то есть «ханаанцами». Вместе с Астартой (Ашторет, Иштар) и Ваалом Таммуз возглавлял пантеон семитских богов и божков – весьма оргиастическую культуру до возникновения иудейского монотеизма. Раскопки в Угарите возбудили интерес к этой культуре, что самое удивительное, у выходцев из восточной Европы. Уроженец Варшавы Уриэль Шелак (Гальперин), который в одиннадцатилетнем возрасте приехал в 1919 году в страну Израиля, и родившийся в том же 1919 в Харькове

Бениамин Камерштейн, которого родители пятилетним ребенком привезли в Тель-Авив, основали группу израильских интеллектуалов «Младо-евреи» или «Ханаанцы».

Первый взял псевдоним Ионатан Ратош, став крупнейшим ивритским поэтом.

Второй взял псевдоним Бениамин Таммуз, став крупнейшим ивритским прозаиком.

По мнению «ханаанцев», резко выступавших против порожденной диаспорой религиозной покорности и вообще против религий, свежесть и раскованность языческих чувств, несомых идолами древней Финикии-Ханаана, может возродить потерянный в тысячелетиях истинный образ потомков праотца Авраама Аиври – «Авраама-еврея», как написано в Торе. Потому они называли себя «иврим» (евреями) в противовес «иудеям», перелагали на современный иврит мифы Ханаана, романтизируя имена Таммуза, Ваала и Астарты.

В представляемой читателю книге «Таммуз» является именем автора первого романа «Реквием по Нааману» и именем героя второго романа «Сон в ночь Таммуза». Автором первого романа является Бениамин Таммуз. Автором второго – Давид Шахар. Оба романа в свое время стали бестселлерами и были переведены на многие языки мира.

Бениамин Таммуз был известен как скульптор, он учился в Париже. Первая его книга «Золотые пески» вышла в 1951 году. В ней он описывает свое детство в Тель-Авиве. После

этого вышли десятки его книг, и посвящены они, главным образом, молодым людям, ищущим путь в жизни.

Таммуза можно назвать «автором печального образа» по его отношению ко всему, что происходит вокруг. Потому и юмор у него особый, порой доходящий до острейшей сатиры, и все же смягчаемый щемящей душу сентиментальностью. Именно это сочетание, да еще и своеобразный язык, вывели Таммуза в первый ряд израильских прозаиков. Он становится известным после перевода на европейские языки романов «Эльяким»(1965), «На крайнем западе»(1967), книгой «Хамелеон и соловей», которую назвал своей «духовной автобиографией». Роман Таммуза «Минотавр» Грэм Грин назвал лучшим романом 1980 года в мировой литературе.

Один из основных романов Таммуза «Реквием по Нааману», вышедший в свет в 1978 году, представляет собой сагу о семье, которую Фройке-Эфраим привез на землю Израиля еще в конце XIX века. С присущим автору печальным юмором и вместе с тем глубоким ощущением силы жизни, Бен-Амин Таммуз доводит свое повествование до 1974 года.

Автор романа, публикуемого в этой книге, «Сон в ночь Таммуза», Давид Шахар – единственный в новой ивритской литературе писатель, предпринявший грандиозную попытку создать разветвленную художественную систему, разворачивающуюся циклом романов под общим названием «Храм разбитых сосудов» («Хейкал акелим ашвурим»). Второе название цикла – «Луриана», по имени одного из главных ге-

роев Габриэля Ионатана Лурия, которое в свою очередь связано с именем великого каббалиста Ицхака Лурия, чье сокращенное имя – АРИ (Ашкенази (Адонею) Рабби Ицхак (1534–1572)).

В чем смысл названия цикла «Храм разбитых сосудов»?

В одном из интервью Давид Шахар дал такое объяснение: «Разбивание сосудов – понятие, введенное АРИ. Это, по сути, одна из идей, к которой пришел человек в поисках ответа на вопрос: если Всевышний сотворяет лишь добро, откуда зло в этом мире? Ответ АРИ таков: Богу (АРИ называет его «Эйн-Соф» – «Бесконечность») для создания физического мира необходимо было место. Но так как бесконечность заполняет все, следовало ее сжать, сократить и найти свободную точку, из которой возникнет материальный мир. Но сам по себе он лишен смысла. Содержание и смысл он может обрести, когда в него вдохнут дух, душу. И тогда Бог ввел в этот мир один-единственный Божественный луч, но мир не выдержал его и взорвался. Другими словами, 400 лет назад АРИ пришел к выводу, что мир является продуктом «большого взрыва», и все мы родились в этом взорванном мире. Каждый из нас – малый осколок, несущий в себе каплю того Божественного луча света. Мы все – плоды взрыва, в результате которого в этом мире нет ничего, что находилось бы на своем месте. Мы – осколки разбитых сосудов. Как же это исправить? Бесконечность обладает слишком большой мощностью, чтобы можно было на нее повлиять. Но каждый мо-

жет исправить самого себя. Основой этого является его единственное и неповторимое бытие, самое интимное и личностное. Это переживание я ощутил в детстве, здесь, в Иерусалиме, как и АРИ. Это открытие могло настичь или застичь его только в Иерусалиме...»

Цикл романов, некая парабола, не может быть завершен. Он может оборваться неожиданно с жизнью автора, но по самой своей концепции остается открытым. И уход автора из жизни кажется досадной случайностью в созданном и уже без него развивающемся мире.

Физическая любовь, несущая в себе духовное слияние любящих душ, согласно Каббале, одно из главенствующих чувств, пронизывающих мироздание, сотворенное Богом. Особенно широко тема любви, земной и вечной, выражена в предлагаемом нами читателю романе «Сон в ночь Таммуза».

В одном из последних своих интервью на вопрос: «Не кажется ли вам, что Габриэль Ионатан Лурия все еще не осуществил обещанное в начале своего пути?» Давид Шахар отвечает: «Габриэль возвращается в романе «Сон в ночь Таммуза» двадцатилетним, то есть речь здесь идет о периоде его жизни еще до начала первого романа «Лето на улице Пророков». В конце романа «Сон в ночь Таммуза» есть некое прозрение героя, а точнее, автора, которое я бы назвал – «Судебный процесс, возбужденный потерянным раем против автора-творца». Подсудимый старается отдать себе отчет об отношении между творцом и творением, между Создателем и

его созданием. Это – главное место в романе и, в определенной степени, во всем цикле. Речь о внешней оболочке жизни и нагой душе, скрытой под этой оболочкой («клипа» – понятие из книги «Зоар»), которую человек всю свою жизнь пытается пробить. Любопытно, что это заметила именно французская критика тотчас же после выхода перевода романа».

И все же, прежде всего, Давид Шахар по сути своей, миропониманию и душевному складу – истинно национальный, ивритский, израильский, еврейский писатель.

Эфраим Баух

Сон в ночь Таммуза

Дочери моей Дине и Орит – с любовью

Таммуз – один из месяцев древнееврейского лунного календаря, которым пользуются в Израиле параллельно обычному календарю: по нему Таммуз соответствует июню-июлю.

Увижу нимб света —
уходящую луну,
пока не натянется
серебряная нить
и не покатится
шарик золотой...

Что касается Таммуза – со времени той единственной встречи в кафе «Золотой петух» и до возвращения в Израиль – я не видел Томаса Астора и вовсе не был уверен, что именно он и есть Таммуз Аштарот, с которым ошивались между могилами мудрецов Синедриона тридцать лет назад, сын ивритского поэта Эшбаала Аштарот. Сомнения не давали мне покоя, несмотря на то, что вид его мгновенно пробудил во мне боль от смерти его сестры Нингаль, которую я любил. Таммуз исчез из моего мира еще до войны за Независимость, и вовсе не с ним я шел встретиться, а с Томасом Астором, заведующим отделом театра в журнале «Пари ре-

вью», и не по моим делам, а от имени Аарона Дана. Когда же передо мной возникла физиономия под именем Томас Астор, его абсолютная отчужденность по отношению ко мне не оставляла ни малейшей возможности простому и естественному знакомству. Только после встречи, когда душа освободилась от нахлынувшего на меня потока чувств и воспоминаний, я решился тут же с ним связаться и спросить открыто и напрямую, не он ли Таммуз, и если он и вправду Таммуз, приятель моих детских лет, чего это он так чурается меня. Но он, как оказалось, покинул город, уехав по журнальным делам. Я решил позвонить ему через неделю, десять дней, сразу же по его возвращении в Париж, но уже на завтра, наткнувшись у входа в наш офис на Арика Высоцкого, вспомнил о том, что он мне сказал за пару часов, как бы невзначай, до моей встречи с Томасом Астором в кафе «Золотой петух»:

– ...Это большой мой друг, покинувший Израиль. Он не просто уроженец страны, имя у него израильско-ханаанское – Таммуз. Можешь представить, в какой среде он рос, если родители дали ему такое имя...

Арик был настолько озадачен и даже испуган заданием по работе, что не успел я расспросить его о большом его друге по имени Таммуз, как он исчез за углом. Так или иначе, нам предстояло увидеться с Ариком в пять после полудня в офисе, можно будет его затащить в кафе и в спокойной обстановке, подробно расспросить о Таммузе: не сын ли он ивритско-

го поэта Эшбаала Аштарот. Вряд ли может быть в Париже, где толчется немало израильтян, два или более человека по имени Таммуз, и если он именно тот самый, вполне вероятно, что он сменил имя на Томас Астор, как и отец его в свое время сменил свое имя Берл Рабан на Эшбаал Аштарот. Я склонялся к тому, что так оно и есть, несмотря на уверения Арика, что я совсем не знаю его друга по имени Таммуз, который решил покинуть Израиль и поселиться в Париже. Вероятно, это проистекало из того, что Арик ничего не знал о прошлом Таммуза, с которым познакомился в Париже. В разговорах своих они не упоминали моего имени, да и причины не было этому, потому Арик и не мог подозревать, что я знаком с его другом еще с детства в старом квартале Монтефиоре, который также назывался Ямин-Моше или Жилища безмятежных (Мишкенот Шаананим). Именно в тот год, когда Арик пришел учиться в нашу школу, он уже не мог встретить ученика по имени Таммуз Рабан – так тот был записан в классном журнале, ибо Таммуз перестал ходить в школу. Никто не знал, где он и что с ним после того, как отец его оставил дом и работу и приткнулся в подвале госпожи Джентилы Ландау с одной, но пламенной целью – писать стихи. Арик с трудом помнил имена одноклассников, тем более не мог знать кого-либо, вычеркнутого из классного журнала.

Вернувшийся после полудня Арик с пакетами почты выглядел не менее озабоченным, чем утром, буквально полз по ступеням на толстых своих ногах и раздавал пакеты, морща

люб, с опущенным долу, сосредоточенным взглядом.

– Зайдем после работы в кафе выпить чего-нибудь, – сказал я ему, принимая предназначенную мне корреспонденцию. Он же покачал головой в знак согласия и заторопился в соседнюю комнату. И в кафе тревога не покидала его взгляд.

– С мамой твоей снова не всё в порядке? – спросил я.

– Утром, когда я выходил на работу, она чувствовала себя хорошо, но я начал беспокоиться после нескольких моих звонков домой: линия все время была занята.

– Это может быть и добрым знаком, – сказал я.

– И да, и нет. С одной стороны, быть может, знак добрый: она бодрствует и весело болтает с подругами. Но, с другой стороны, это, может, знак вовсе не добрый: она звонит врачам, просит помощи, а, быть может, кто его знает, – ты ведь знаешь мое болезненное воображение – вдруг одолела ее слабость во время разговора, она потеряла сознание, трубка выпала из рук, и потому линия все время занята. Я сижу себе здесь и наслаждаюсь жизнью, в то время как мама лежит дома больная и беспомощная.

Тревожный его вид для человека, который не слышал и не знал о страхах, поедающих его душу, свидетельствовал сам по себе о чем-то вовсе обратном, чем наслаждение жизнью за столиком кафе.

– Я тебя долго не задержу, – сказал я.

– Нет, нет, ты вовсе меня не задерживаешь, – поспешно сказал Арик и даже положил ладонь на мою руку, чтобы

предотвратить мой уход. – Раз ты меня пригласил... Я бы тебя тоже пригласил, если бы мне было необходимо что-то выяснить.

Лицо его неожиданно покраснело и, после некоторого колебания, он добавил:

– Я бы и сам пришел сюда расслабиться – посидеть, поглядеть на прохожих, выпить чего-нибудь перед уходом домой. Подышать свежим воздухом, почувствовать себя свободным. Понимаешь, я ведь сам знаю, что тревоги мои зряшны, что занятая линия – это добрый знак: мама болтает с подругами и вовсе в этот миг во мне не нуждается. Тем не менее, мое воображение не оставляет картина лежащей на полу матери, ее лица, искривленного внезапной болью... Ладно, перейдем на другую тему. Я вовсе не собирался свои тревоги возлагать на тебя. Минут через пять позвоню домой отсюда – убедиться, что все в порядке. Так о чем мы говорили? Кажется, утром ты что-то собирался спросить меня перед тем, как появилась Яэли Ландау со своими записочками.

– Да, – сказал я, – хотел спросить тебя о твоём друге. Помнишь, ты сказал, что у тебя есть друг по имени Таммуз?

Еще до того, как он услышал имя «Таммуз», даже до того, как я успел спросить, лицо его сильно зарделось, и он бросил на меня странный такой, непонятный мне взгляд, заставивший меня прервать вопрос.

– Да, да... Ты хотел спросить...

– Этот Таммуз случайно не сын поэта Эшбаала Аштарот?

Не зовут ли его Таммуз Аштарот или Таммуз Рабан? Настоящее имя его отца было Берл Рабан, и в детстве мы звали его Таммуз Рабан. Так он был записан в классном журнале, так его окликали учителя.

Глаза Арика засверкали, он даже с какой-то радостью покачал головой:

– Да, да... Точно так. Жаль, что тогда, в детстве, я не встретился с ним и ничего о нем не знал. Познакомился с ним лишь здесь, в Париже. Это удивительный, чудный человек!

Облако тревоги, душевная его подавленность исчезли при упоминании друга по имени Таммуз. Тут я понял причину того, что он покраснел при упоминании этого имени.

– Честно говоря, – продолжал Арик, – я намеревался поговорить с тобой о нём. Даже попросить кое о чем. Бывают же иногда такие случайные совпадения, этакая телепатия: в течение всего дня я колебался – обратиться с этим к тебе или нет. И это в то время, что ты хотел расспросить меня о Таммузе, ибо знал в детстве его отца. Просьба моя, по сути, и связана с его отцом. Ты ведь должен лететь в Израиль на следующей неделе, вот я и хотел попросить тебя о личном одолжении – связаться с его мамой. Отец его, как я понимаю, умер много лет назад, но, вне сомнения, она хранит все его документы и бумаги.

– Конечно же, я это сделаю с большим удовольствием. Ведь и я очень бы хотел увидеть ее после стольких лет. Не

знаю, где она сейчас живет, но думаю, что не будет трудно напасть на ее след. Она ведь ныне – вдова известного поэта Эшбаала Аштарот!

Сердце мое защемило внезапной болью мгновение, когда я видел его последний раз поднимающимся по ступеням больницы к дочери его Нингаль, лежащей при смерти. Ноги его подгибались, он присел на ступени, обхватив руками голову, и все поднимающиеся и сходящие бросали на него недоуменные взгляды.

– Ты, вероятно, знаешь, что Эшбаал Аштарот в свое время работал в глазной клинике доктора Ландау, и Таммуз рассказывал мне, что его отец вместе с доктором Ландау ездили в Иран лечить глаза кому-то из шахской семьи.

– Да, я помню. Рассказывали тогда, что доктор Ландау и все его сопровождавшие получили золотые медали и благодарственные письма от самого шаха. Это был отец шаха нынешнего, у которого столько сейчас бед. Вполне возможно, что именно ему лечили глаза, ведь он был тогда молодым шахским сыном.

Арик возбужденно следил за каждым моим словом: все, касающееся его друга, было бальзамом его сердцу:

– И еще Таммуз мне рассказывал, что помнит – у отца его был пакет с входными билетами в шахский дворец. Быть может, что-то осталось из этого пакета: дорожный билет, приглашение на праздничный ужин, на встречу в саду. Прошу тебя, если возможно, привези хотя бы что-то одно, даже про-

сто копию.

– Конечно, – сказал я, – если только у нее что-то осталось от тех дней и она согласится мне дать.

– Прекрасно, – сказал Арик, – теперь я вернусь домой в отличном настроении.

Еще до того как мы расстались, у меня возникло желание спросить его, почему он обращается именно ко мне со столь простой просьбой, связанной с отцом его лучшего друга; ведь он может попросить об этом напрямую самого Таммуза. И всё же я подумал, что такой вопрос может быть им истолкован, как нежелание выполнить его просьбу. Более того, вопрос этот может затронуть какие-либо болезненные точки, которых Арик не хотел касаться. Быть может, по той или иной причине Таммуз прервал всякие связи со своей матерью, или она – с ним. Быть может, именно крепкая дружба не позволяет Арику обратиться в Таммузу с такой просьбой или, наоборот, он желает это скрыть от друга по своим каким-то причинам. Ведь вот, не предложил же мне адрес вдовы Эшбаала Аштарот. С другой стороны, вполне возможно, что Арик просто не придавал значения моему замечанию, касающемуся этого адреса, и вообще его просьба не заключает в себе вообще никакой тайны. Просто нужные материалы, таким образом, окажутся у него гораздо скорее, чем в результате длительной переписки.

После того как мы расстались и я убедился в том, что, друг Арика и есть Таммуз, сын Эшбаала Аштарот, внезап-

но, до сердцебиения, я ощутил острую неудовлетворенность: ведь не спросил я Арика о главном: почему Таммуз здесь, в Париже, живет под именем Томас Астор? Сомнения начали меня грызть не менее сильно, чем до встречи с Ариком. В общем-то, все сошлось на том, что Таммуз Аштарот и есть Томас Астор, но именно поэтому остро встал вопрос: почему он был столь отчужден во время нашей встречи. Нет, он вовсе не притворялся. Томас Астор просто не был со мной знаком. Он ведь не знал, с кем ему предстоит встретиться. И если он и вправду был Таммузом, скрывающимся под иным именем, некий незаметный знак удивления от неожиданной встречи, трепет ресниц, мигнувшее веко, едва искривившийся рот, произвольный жест руки – должны были его выдать. И это даже в том случае, если он решил намеренно не признать меня, после того как понял, что его собеседник – не автор пьесы «Откровение человека» Аарон Дан, а я, выступающий от его имени и по его поручению? Но, быть может, Таммуз – Томас Астор вовсе не чурался меня, а просто-напросто не узнал после тридцати пяти лет, по сути, целой жизни, и был искренне уверен в том, что беседует с автором пьесы «Откровение человека» Аароном Даном? Да, говорили мы по-французски, но проблемы, поднятые в пьесе, были явно израильскими, явно знакомыми ему по прошлой жизни. Однако Томас Астор даже слабым намеком не открылся, что он уроженец Израиля, не произнес ни одного ивритского слова, как будто не был сыном ивритского поэта,

а абсолютно чуждым Израилю, его языку, проблемам, всему, что там происходит.

Может, и вправду он чужеземец? Просто какой-то англосакс Томас Астор. И связь его с Таммузом, по сути, плод моего разыгравшегося воображения? Все события, предварявшие мою встречу с Томасом Астором, выстроились в некую четкую цепочку, каждое звено которой твердо доказывало, что все мои странные виртуальные соображения, явные видения или призраки моего воображения, не имеют даже малейшей основы в реальности. Ведь все началось со случайной встречи с Ариком Высоцким. Не встретил бы я его по пути на встречу с Томасом Астором, у меня даже не возникло бы мысли подозревать в незнакомом человеке, в чужом городе иную личность, прежнюю, связанную с моим детством, с еврейством. Но, когда я увидел неожиданно на улице Детурнон, как в незнакомой физиономии с крашеными усами и клочками волос, подобно раздерганному и увядшему венку украшающими темную лысину, проступает облик ребенка Арика Высоцкого в шапочке с красным помпоном, неожиданно раскрылись шлюзы воспоминаний, и волны тех дней окатывали меня одна за другой, разбиваясь одна об другую. Я барахтался в них всю дорогу до встречи с Томасом Астором. В этих волнах, то взлетая, то низвергаясь, парило, тонуло, возвращалось, качалось, мерцало издали имя «Таммуз», которое Арик обронил как бы невзначай, всего один раз и без всякого упоминания с моей стороны. Не упоминал я его

и не реагировал именно потому, что это был Таммуз, брат Нингаль, которую я любил. Та боль, которой он ранил мою душу, была до того глубока и непреходяща, что даже сейчас, когда я встретился с Ариком поговорить о Таммузе, мне даже в голову не пришло просить его о встрече с ним.

И так вот, прихваченный, словно клещами, именем «Таммуз», я пришел на встречу с Томасом Астором. Я приклеил ему биографию Таммуза, найдя, в приступе некой эйфории, какие-то черты в лице незнакомого человека в чужом городе, напоминающие подростка, который когда-то был мне близок в моем родном городе.

Более чем странно, что, собираясь на работу посланцем в Париж, буквально в день выезда, я задумался над вопросом: существовал ли вообще в реальности, вне моей жизни, этот подросток. Вопрос возник именно в те дни, когда я возился с паспортом и другими документами в связи с отъездом, посещая разные инстанции. Там я встречался по ходу дела с моими соучениками по средней школе. Естественно, имена учителей и одноклассников назывались при этих случайных встречах. Названное мною имя Таммуз ничего им не напоминало. А ведь не день и не два – годами они учились с ним в одном классе. Ныне же не помнили его абсолютно. Даже после того как я описывал его облик и школьные поступки. Только один, известный журналист из серьезной ежедневной газеты, воскликнул:

– Еще бы, конечно! Стихи, посвященные богом Таммузом

богине Астарте! Помню, помню! Сейчас он пишет религиозно-националистические стихи!

Я даже не попытался уличить его в ошибке, и не просто, а ошибке в квадрате. Просто в этом не было никакого смысла. Ведь журналисту этому, который не помнил мальчика по имени Таммуз, было все равно, ребенок или его отец писал стихи, которые он не читал и не желал читать. Но как расторопный и бдительный журналист, вспомнил, что слышал как-то фразу «стихи Таммуза Астарте», и с проворством газетчика схватил, что в стихах этих что-то связано с Писанием, тут же пришел к выводу, что стихи эти религиозные. А если религиозные, то, несомненно, националистические. И не было ему дела, что поэтом был не Таммуз, а его отец, который вовсе религиозным не был, а наоборот, являлся абсолютным противником еврейства в его галутном выражении. Он отчаянно боролся против любого проявления галутного духа, его хитросплетений и традиций, а пил из источника древнееврейского – из Танаха, и, по его мнению, галутный дух – и в Израиле, и во всем мире – будь это в одежде религиозной или светской – это враг, пожирающий, как моль изнутри, подобно «пятой колонне», государство Израиль.

После встречи с журналистом я вдруг понял: нет ничего удивительного в том, что другие, которые не зарабатывают погоней за всяческими слухами и сплетнями, возникающими в пространстве мировой скуки, вовсе забыли о существовании Таммуза. Он сам предпочел быть начисто забытым, а

в годы юности старался как бы стереть себя из общего фона, быть этим фоном проглоченным, чтобы никто не обратил на него внимания, не заметил его. В этом смысле он был абсолютной противоположностью Арику, который возник в нашем классе в тот год, когда Таммуз исчез из него. Арик, пришедший извне, со своим красным помпоном, делал все возможное, чтобы быть принятым, быть «одним из бранжи», «быть внутри», в то время как Таммуз, будучи «внутри», делал всё, чтобы вырваться наружу, но пока, вынужденный находиться внутри, делал всё, чтобы быть незаметнее собственной тени.

Это началось у него еще с детского сада или даже раньше. Я, во всяком случае, помню, как он играл в одиночестве, целиком занятый собою. Особенно любил играть с кубиками, строить дворцы. Это было воистину любимое его занятие – строить из кубиков, дощечек, всего, что попадало ему под руку, красивые домики, пока не возникала чья-то нога или несколько ног, и они расшвыривали эти постройки, созданные его фантазией, подбрасывая кубики с дикой радостью. Он не плакал, не кричал, не бежал жаловаться воспитательнице, не отбивался ногами от нападающих, лишь осматривался в страхе, в изумлении, с болью, собирал заново кубики и пытался построить новый дворец в другом уголке, более отдаленном и скрытом. Он не вступал в драку, не собирался давать сдачи, не торопился излить свою обиду воспитательнице. Он хотел строить дворец. Но даже если бы побежал к

ней жаловаться и требовать справедливости, положение его вовсе бы не улучшилось, ибо она руководствовалась правилами прогрессивного воспитания тех лет, которые, быть может, распространены и по сей день, трудно мне сказать, ведь нога моя вот уже десятки лет не ступала в детский сад. Она отвечала:

– Они тебя бьют – дай им сдачи!

Но не это сдерживало его от жалобы или драки, а просто характер. «Таков характер», – любили говорить в те дни. Он любил не только строить, но и рисовать красивые дома, окруженные садом, высокими каменными заборами – и это в те дни, когда не было у него своего угла, даже своей постели. Спал он в домах дальних и близких родственников. Жил, к примеру, у «Красного уха»: эту кличку госпожа Лурия дала торговавшему в розницу старику, реб Акиве Рабану, дяде отца Таммуза. Или у «Долгожителя», дяди своего, брата отца, а иногда и у доктора Ландау. В начале, во времена детского сада, это было связано с беспорядками. Арабы нападали на отдаленные еврейские кварталы. Таммуз жил в крайнем доме старого квартала Монтефиори, напротив арабского села Дер-Абу-Тор, и его вместе с другими детьми эвакуировали в центр города, в дома родственников. Затем он снова оказался без пристанища. Отец перестал работать, и вся мебель была продана с молотка на покрытие части долгов.

Один единственный раз в детском саду Таммуз взбунтовался. Это было в некий необычный день, когда нас всех по-

вели в рощу Шнеллер. В тот день пришли штукатуры обновить стены детского сада, и воспитательница повела нас в рощу. Каждый взял с собой фрукты и сэндвичи, принесенные из дому, чтобы подкрепиться в десятом часу. Таммуз же нес в руке мешочек с деревянными кубиками, чтобы строить свой дворец.

Воспитательница использовала место, чтобы дать нам урок природоведения, называла деревья, цветы, кусты, колочки, облака. Я особенно запомнил такие названия, как «перистые облака» и «овечьи облака», которые привели меня в невероятное изумление. Помню я также какую-то драку, которая возникла во время завтрака далеко от меня, на вершине склона, по которому сбегала роща, ближе к «стене Шнеллера». Лицо воспитательницы Сары, красное от злости: она вынуждена была, перестав жевать пищу, наводить порядок среди детей. Смысл случившегося открылся мне через много лет, когда мы уже были взрослыми, при одной из последних встреч с Таммузом после окончания средней школы. Он рассказал мне, что в тот день, рыская по роще, внезапно обнаружил вдалеке от группы гладкую, чистую, пустую веранду, на которой можно было спокойно, в тишине, строить все, что ему заблагорассудится. Дрожа от радости, он погрузился в сооружение башни, пока не услышал поблизости этаким хохоток, уже знакомый ему, а затем, как обычно, возникла и нога. Как обычно, он оглянулся, чтобы отметить уголок, куда можно отступить, и тут у его ног раскры-

лась дыра: это была вовсе не веранда, а плоская крыша какого-то забытого строения на склоне. Дыра эта заставила его всеми силами рвануться вперед, вместо обычного отступления назад, и он свалил двух одним своим рывком, двух наиболее агрессивных, которые всегда рушили его сооружения и, вероятно, сильно их стукнул, ибо они завyli в голос и бросились к воспитательнице. С удивительным ощущением радости, которого раньше никогда не испытывал, ощущением победы, он занялся своими кубиками. Но тут вернулись двое с воспитательницей, и она заявила ему, что это не его личный участок, и другим детям тоже можно здесь играть. Будто он мешал кому-то играть. Таммуз не знал, что ответить, покачал головой в знак согласия и продолжал строить. Теперь целая группа прыгала рядом. Не было у них игрушек, и они носились друг за другом с шумом и криками. Снова чья-то нога наступила на дворец. На этот раз он не оглянулся, как обычно, а набросился на изумленного разрушителя. На шум возникла воспитательница.

– Ты просто дикарь, – заорала она на него. Лицо ее было пунцовым от злости. – Ты все время дерешься. Набрасываешься на всех.

– Но они начали... – пытался защищаться Таммуз, – они ни разу не дали мне достроить...

Тут лишь воспитательница заметила разбросанные кубики.

– Кто принес сюда кубики из детского сада?

– Я, – сказал Таммуз в надежде, что сейчас восторжествует справедливость. – Я принес мешочек с кубиками сюда.

– Ах так, – покачала она головой. – Кто дал тебе право выносить игрушки из детского сада? Я ведь ясно сказала, что запрещено выносить что-либо! Придется мне вызвать твою маму.

Тут она обнаружила дыру в крыше и добавила:

– Я вообще запрещаю вам здесь играть. Это опасно. Мы стоим на плоской крыше без перил, и вы можете свалиться вниз. Не понимаю тебя, Таммуз! Не достаточно того, что ты ходишь без разрешения, в одиночку, в разных опасных местах, ты еще тащишь за собой других детей и мешаешь их завтраку. А теперь дай мне кубики, и мы все вместе пойдем и присядем под кипарисом, чтобы закончить завтрак.

Описывая всё это, Таммуз вовсе не думал предаваться воспоминаниям времен детского сада, а просто пересказывал написанную им одноактную пьесу. В те дни он мечтал снять фильм и говорил о том, что если ему не удастся достать необходимое для этого оборудование – не знаю, существовало ли оно вообще в те дни в Израиле, – он попытается снять немой фильм типа комедии, подобный короткометражкам Чарли Чаплина, одержимым поклонником которого он был. Вдобавок к событию, случившемуся в детском саду, в пьесе был некий сон, который неоднократно посещал его в этот последний год учебы в средней школе. Я был тогда членом классного комитета, и мне было поручено собрать

материал к выпускному вечеру. Таммуз вовсе не думал о постановке своей комедии на вечере, а размышлял над сценарием к фильму в стиле Чарли Чаплина, режиссером и главным актером которого будет он сам. Но, так как я обратился к нему, рассказал мне сюжет одноактной пьесы, сложившейся в его воображении то ли в виде киносценария, то ли в виде театрального спектакля, и даже дал мне ее почитать. Не знаю, почему он озаглавил её – «Видение»: что-то в этом названии было одновременно и обветшавшим и как бы вывихнутым, выпадавшим из рамок времени и места, ничего не говорящим юному современнику тех лет.

Итак, «Видение».

Таммуз находится в ярко освещенном зале, подготовленном к некому празднеству, быть может, и выпускному вечеру с получением аттестатов и грамот. Он строит «арку победы», под которой должна пройти процессия получающих аттестат зрелости. В общем-то, арка эта не из камня, подобно арке Тита или Наполеона, а декорация к представлению и сделана из цветных деревянных щитов. Истекая потом, он снимает с себя одежды, оставаясь в одних шортах. Несмотря на все усилия, он не может построить арку, ибо ее без конца рушат те, для которых он ее строит, сбивая столбы и щиты. На миг кажется, что столбы стоят прочно, и надо лишь увенчать их сводом, но люди, идущие со всех сторон и во всех направлениях, бьют ногами по недостроенному сооружению, рушат его по дороге, главным образом, в буфет. Бро-

сает он рухнувшую арку и устремляется за ними. Все толпятся вокруг стола, хватают еду и питье. Он тоже пытается пробраться к столу и схватить что-то, но ему не дают. Бросают на него недоуменные взгляды, потрясенные его наглостью. Что он тут делает среди них? Кто разрешил ему сюда войти? И тут он понимает, что ему нельзя здесь быть, ибо у него нет красного пояса. Нет у него права тут быть, ибо он не совершил пробег с препятствиями на рядом расположенном стадионе. У входа стоит то ли администратор, то ли инспектор, следящий за теми, кто вошел, и дает красные пояса совершившим пробег. Таммуз выходит на дистанцию, но во время бега шорты начинают у него спадать, ибо нет у него никакого пояса, ни обычного, ни тем более красного. Он пытается бежать, придерживая шорты одной рукой, но занятая рука не дает ему возможности прыгать через препятствия. Тогда он возвращается в зал искать какую-нибудь веревку – подпоясать шорты. У дверей он видит подходящую проволоку, повисшую на крючке. Срывает ее с крючка, подвязывает шорты, и тут выясняется, что гирлянда цветных лампочек, подвешенных на сорванном им проводе, начинает падать. Он тянет оставшуюся часть провода, с трудом цепляет его за крючок, выскакивает на дистанцию и преодолевает его на одном дыхании. Вернувшись, он не находит администратора, который распределяет красные пояса. Оглядывает он из-за дверей зал и видит того, вместе с другими людьми пытающегося вернуть на место гирлянду цветных лампочек,

валяющихся на полу. Таммуз хочет помочь, тянет гирлянду, но тут администратор орет на него и выдворяет из зала. По его движениям и гримасам Таммуз, понимает, что наказан за вход без разрешения и красного пояса, за разрушение гирлянды цветных лампочек, за возникший полный хаос, ибо из-за сильного гнева из уст администратора не выходит ни одного ясного слова, кроме рыка, крика и хрипа. Он пытается схватить Таммуза, чтобы вышвырнуть его наружу, и тут краем глаза Таммуз замечает предназначенный ему пояс под столом. Он вырывается из рук администратора и проскальзывает между ног праздничной толпы под стол, тянет вниз скатерть, прикрывающую его, надевает красный пояс, оттирает пот с лица краем скатерти и вздыхает с облегчением после всего, что произошло. И тут с радостью замечает, после того как глаза привыкли к темноте, горку кубиков, из которых можно построить великолепный дворец. Пока он ощупывает кубики, кирпичики, арки, овальные крыши, шпили колонн, притолоки – над ним накапливаются, толкутся звуки жевания, кусания, глотания, сосания, хохотки и шепотки готовящихся козней. Дыхание его замирает от внезапного страха. Ведь это те два хулигана, которых он выгнал с площадки своего строительства. Они прячутся под прикрытием скатерти со всем, что стащили со стола, а теперь замышляют выхватить у него коробку с кубиками. Тут же он вырывается вместе с коробкой на свою строительную площадку, они же – за ним следом. Он оставляет коробку на краешке плоской кры-

ши, поворачивается и набрасывается на них. В пылу драки он чувствует, что кто-то тянет его сзади и пытается ударить, чтобы помочь тем, двоим одолеть его. Он отбрасывает его ударом локтя, и только после того как те двое убегают, оборачивается. Худенький, дрожащий от страха мальчик, стоит на коленях в углу плоской крыши, над провалом, и умоляет: – Не бросай меня вниз. Я сделаю все, что ты потребуешь, только не бросай меня вниз!

Таммуз вспоминает, что краешком глаза заметил мальчика раньше, но не придавал этому значения, ибо был занят убегаем от тех двух хулиганов, преследовавших его. У него и в мыслях не было сбрасывать с крыши этого несчастного малыша, и от голоса его, задыхающегося от страха, бьющего в уши, и от вида этого трясущегося тельца, падающего в бездну и разбивающегося об острые камни, бросает в дрожь самого Таммуза. Ведь после уроков Танаха даже при одной только мысли о козле отпущения, которого сбрасывают в бездну и он разбивается о скалы, все в нем восставало. Как вообще может возникнуть у людей такое желание – взять ни в чем не повинного козла, доверяющего человеку, привести его к бездне, изгаляться над ним, пока душа его не покинет истерзанное камнями тело?

– Чего это я буду сбрасывать тебя вниз? – спрашивает Таммуз, и замешательство в глазах мальчика растет вместе с краской, заливающей лицо. Теперь он весь – трясущийся сгусток нервов. Таммуз сам впадает в замешательство, видя,

как на штанах мальчика, между ног, увеличивается мокрое пятно. Еще немного, и он обделается от страха.

– Не бойся, – пытается Таммуз его успокоить и даже проводит ладонью по черным его волосам, кудрявящимся вокруг белого лица. Кожа мальчика чиста и мягка, глаза миндалевидны, огромны. Даже прикосновение его пугает. – Как тебя зовут?

– Хемдан, – отвечает он, как обвиняемый, признающий свою вину.

– Красивое имя, – говорит Таммуз. – Красивое библейское имя: Хемдан Бен-Дишан. Оно тебе подходит.

И про себя он думает, что имя и вправду подходит этому прелестному мальчику.

– Обычно меня зовут Хемед, – уточняет мальчик, как бы желая быть правдивым до конца.

– Это ничего не меняет. Просто уменьшительное и означает «прелесть», – Таммуз продолжает успокаивать малыша и, кажется, преуспевает. – Теперь ты можешь сидеть там, в углу, и строить всё, что захочешь.

Хемед садится рядышком, почти прилепившись к Таммузу, и не двигается с места.

– Я сделаю всё, что ты захочешь, – повторяет он, – я буду подавать тебе кубики, сам я не умею ничего делать.

– Ладно, – говорит Таммуз, – начинай убирать вокруг, убери отсюда все камни, и листья, и грязь.

Тот бросается, из кожи вон лезет – выполнить задание.

Он просто охвачен горячкой – угодить повелителю. Таммуз опасается, как бы тот сам не свалился в пропасть, сбрасывая туда опавшие листья, камни, используя тряпки вместо метлы. Таммуза мучает ощущение, что здесь что-то не в порядке. Ведь он пришел сюда, чтобы спокойно строить в своем уголке дом или дворец, о котором столько времени мечтает, а тут крутится этот малыш и всовывается во все, что Таммуз делает. В отличие от хулиганов он не собирается рушить, а наоборот, помочь, и помощь его истинно полезна и от всего сердца, и все же это мешает сосредоточиться на строительстве лелеемого в мечтах дома, на использовании кубиков и деталей различной формы, на возможностях их сочетания, пока этот малый вертится между ногами. Если бы Таммуз относился к нему, как к некому вспомогательному инструменту, рабу, то получал бы двойное удовольствие – от дополнительной рабочей силы и от ощущения власти. Но ведь он на это неспособен. Со всем непредвиденным удовольствием быть господином и властителем, которое само по себе отвлекает его от строительства дома, он ощущает озабоченность и помеху, отвлекающую его от воплощения своих фантазий в реальность: как бы чего не случилось с его служкой. Этот Хемед в те минуты, когда от него не требуется помощь в строительстве, заполняет все пространство вокруг шумом и бегом. Скачет козлом, прыгает в длину и высоту, скользит по водосточной трубе вниз и повисает на кране, опять возникает в углу крыши, кричит оттуда «кукареку» так, что сердце

Таммуза заходится от страха, что мальчик вот-вот рухнет в пропасть.

– Теперь иди сюда и сиди смирно! – приказывает он малому, и тот присаживается так близко, что дыханием и запахом изо рта обдаёт его, не давая вообще ему работать. – Не так близко. Отойди на десять шагов и там сиди тихо, пока не позову.

И Хемед, как пёс, наказанный и поджавший хвост, отсчитывает десять шагов, садится, скрестив ноги, с опущенными плечами, спиной к Таммузу.

Наконец, достаточно сосредоточившись, Таммуз, кажется, находит главную идею, некую архитектурную нить сооружения. Но тут слышится звук падения. Хемед лежит навзничь, растянувшись во всю свою длину, и плечи его дрожат. «Да пошёл он ко всем чертям, – чертыхается про себя Таммуз и пытается вновь поймать ускользнувшую нить, но положение Хемеда не даёт ему покоя. – Он разыгрывает несчастного. Ну и пусть! А быть может, с ним случилось что-то, когда он карабкался по трубе, ранен, подвернул ногу или сломал кость? Глупости! Если бы сломал или подвернул, не смог бы так бодро отсчитывать десять шагов. Теперь он стонет, но весь этот театр предназначен для привлечения моего внимания, для того, чтобы не дать мне сосредоточиться. К чёрту! Опять возник этот чёрт!» Таммуз вскакивает и трясёт Хемеда за плечо. Тот поглядывает на него одним глазом, полным слез. И вправду на лбу у него выросла шишка – вероятно, от

удара о крышу.

– Болит, – жалуется Хемед, и Таммуз отвечает сердито:

– Сам виноват! Кто заставлял тебя биться головой о крышу? Иди, омой рану, седи тихо в уголке и прекрати свои фокусы.

Хемед по-кошачьи прыгает, проказливая улыбка обнаруживает ямочки на его щеках, возникая среди слез. Гнев беспомощности заливают волной Таммуза. Одним прыжком достигает он Хемеда, хватая его и кричит:

– Ответь мне, почему ты напал на меня сзади так низко и подло, когда два мерзавца гнались за мной, пытались вырвать у меня коробку с кубиками и сбросить меня в пропасть?

Улыбка исчезает с лица Хемеда и он, побелев, каменеет на месте.

– Отвечай! – не успокаивается Таммуз.

– Я думал, что ты собираешься меня сбросить вниз.

– Почему ты так думал? Потому что сам пытался меня сбросить?!

– Я не пытался.

– Так почему ты напал на меня, да еще сзади, когда эти сволочи напали спереди?

Хемед уставился взглядом в кончики своих ботинок и не отвечает, а Таммуз грозно придвигает свое лицо к лицу малого.

– Не знаю... – едва шепчет Хемед. – Я хотел только...

немного... помочь моим братьям...

На миг пресекается речь Таммуза, ошеломленного неожиданным поворотом дела. В следующее мгновение он хватается Хемеда за шиворот и почти рычит на него:

– Катись отсюда! Рви когти к твоим симпатичным братьям, беги им на помощь – ты ведь их очень любишь. Ты не останешься здесь больше ни на секунду. Увижу тебя снова, скину тебя вниз без лишнего слова!

Хемед отступает назад, в сторону пропасти, едва шевеля губами, произнося слабым, пришибленным голосом:

– Они будут снова меня бить. Они опять поймают меня, как в прошлый раз, будут держать на краю крыши и грозить сбросить вниз, если я...

– Что? – спрашивает его Таммуз, оттягивая от края пропасти, чтобы тот случайно не свалился от страха и замешательства.

– Если я снова на них, ну, донесу. Они говорят, что я легаш... Всегда бегу к маме доносить на них. Но это неправда. Они говорят, что мама кричит на них и щипает их, потому что я на них наговариваю, и любит меня, потому что я к ней подлизываюсь.

– И сказано даже, что ты на них доносил... – переводит дыхание Таммуз, собираясь закончить фразу, но его перебивает Хемед:

– Нет. Нет – это неправда. Я ни разу не бегал доносить. Я только рассказывал маме правду, когда она меня спрашива-

ла. Они насмежаются надо мной и сердятся на меня просто так.

– Если так, почему же ты им помогал? Ты ведь должен их ненавидеть!

– Они на меня сердятся. Но я на них не сержусь. Ну, очень редко. Я ненавижу их, когда они меня бьют.

– Мама тебя любит, а они завидуют.

– Я не завидую.

– Верно. Ты хороший мальчик. А теперь беги к своей маме и играй дома.

Опять лицо Хемеда как бы опадает, глаза наполняются страхом и мольбой:

– Я не могу играть дома, когда он там. Это ему мешает. Нельзя мне...

Таммуз с трудом сдерживает само собой напрашивающийся вопрос о том, кто это «он», чтобы не затронуть какую-то глубокую рану, даже если «он» это отец Хемеда или, тем более, отчим. Быть может, отец развелся с мамой, уступив место отчиму или любовнику. Так или иначе, мальчик не может играть дома. «Да если бы и разрешил, – думает про себя Таммуз, – малый бы перевернул весь дом, шумел, скакал, по ходу разбивая вещи. Но я-то не могу выгнать его отсюда, нет у меня на это права. Да, я был здесь до него, строил здесь и разрушал до того, как ему пришла мысль прийти сюда. Но, все же, вернувшись, я нашел его здесь. Но он-то не виноват, что я отлучался в поисках красного пояса. Придя

сюда, он меня здесь не нашел и, значит, по его мнению, он меня опередил и потому имеет право меня отсюда выгнать. Но факт остается фактом: здесь была моя строительная площадка до его прихода. У меня есть преимущественное право, да и пришел я сюда строить, а он-то ничего не построил, не был способен к этому, а только и желал что играть, прыгать, бегать, карабкаться. Почему бы нет? Хочет взбираться по отвесным стенам, пусть себе взбирается. Каждый делает, что ему хочется, и нет никакого права, смысла, да и возможности приказать ему делать то, что он не может, если даже захочет. При условии, что он на своем месте, а он на своем месте, которое и мое. Его право изгнать меня отсюда, но нет у него силы. И мое право изгнать его отсюда, но у меня есть силы это сделать. Выходит, все заключено в силе! Два пса дерутся за одну кость; у каждого полное право грызть ее, но добьется кости сильнейший из них. Верно. Быть может, даже красиво и хорошо в собачьем мире. Но мы же не псы! И даже если он ведет себя по отношению ко мне как собачонка, которая набросилась на меня сзади, когда два больших пса напали спереди, это не означает, что я должен опуститься до их собачьего уровня. Именно потому, что я больше, сильнее и умнее его, я обязан вести себя как человек, уравновешенно и ответственно, и мое поведение должно послужить ему личным примером. В нем действуют еще первичные инстинкты: без умения остановиться хотя бы на миг, чтобы подумать и взвесить, он инстинктивно прыгает на по-

мощь тем двум, которые его избивали и угрожали сбросить в пропасть, и только потому он это делает, что они, по случаю, его братья. Тут, вероятно, подходит выражение – «голос крови»: не имеет значения, что он за человек, каковы дела его, как он ко мне относится – я поспешу ему на помощь в тот момент, когда некто чужой нападет на него, и только потому, что мы с ним вышли на свет из одного чрева. Так ведет себя стадо скота, свора собак, пчелиный рой. Мое же поведение откроет глаза этому малышу, любимому матерью больше всех остальных детей (по справедливости, ибо он мальчик необыкновенный), и научит его быть человеком. Человек – не уличный пес. Хватит псиной психологии, хватит войн. Нет никакой необходимости в войнах и тем более пользы, только – страдание, боль, смерть, разрушение. Я пришел сюда не воевать, а строить в мире и покое, и есть здесь достаточно места и мне, и ему. К тому же он мне симпатичен, и его присутствие обогащает меня душевными переживаниями, и даже строительству моему он хочет помочь изо всех своих сил, но по-своему, конечно.

– Слушай. Хемдан, – Таммуз придает своему голосу грозные нотки и для вящей убедительности хмурит брови, чтобы преподать ему урок раз и навсегда, – я разрешаю тебе играть там, в том углу, но при условии, что ты не будешь мне мешать, а подходить ко мне лишь по моему зову. Если хотя бы один раз, ты слышишь меня хорошо, да, Хемед? Если хотя бы один раз ты начнешь свои выкрутасы, поймаю тебя и

сброшу вниз без единого лишнего слова, понял?

Хемед горячо качает головой в знак полного понимания и решительного согласия, и вновь проскальзывает нечто лукавое из-под облака страха, которое слегка рассеялось. Удаляется в угол, и оттуда доносятся звуки изображаемого им паровоза. Поезд приближается, огибая всю площадь, натужно поднимается на склон, тяжело дыша, застопориваясь, давая предупредительные гудки. В момент, когда он ловит взгляд Таммуза, рука его шлет привет и Таммуз машет ему в ответ.

– Ты не сбросишь меня вниз! – кричит Хемед, не останавливая поезда.

– Почему нет? – удивляется Таммуз.

– Потому, что ты добрый!

– Ты окажешься внизу, как только начнешь... – повторяет Таммуз, но уже не с прежней решительностью, которая слабеет и тает вместе с лукавой улыбочкой, которую ему посылает Хемед между двумя ямочками на щеках. «И вправду, как я смогу такое сделать?» – спрашивает себя Таммуз и видит в Хемедe самого себя, как в некоем волшебном зеркале, отражающем прошлое. Таким он был, и такой была его судьба в те давние дни, когда был мальчиком семи-восьми лет, без дома, приживалой у старика, ребе Акивы Рабана, которого в квартале называли «Красноухий торговец вразнос», потом жил у доктора Ландау, а какое-то время даже в подвале дома дяди отца по кличке «Долгожитель». Особенно мрачной была жизнь в доме у «Красноухого». О каких иг-

рах могла идти речь, если даже уроки он не мог там выполнять. Стол всегда был завален тарелками, стаканами, ножами и вилками, бутылочками с лекарствами, особенно глазными каплями, и он с трудом очищал себе уголок, чтобы положить книгу или тетрадь, заняться чтением или письмом. И то лишь тогда, когда старика со старухой не было дома. Слыша издали их приближение, он торопился спрятать книги и тетради под стол. Однажды забыл тетрадь на столе и, вернувшись, обнаружил на ней бутылку с подсолнечным маслом. На следующий день учительница размахивала его тетрадкой перед всем классом, показывая отвратительное масляное пятно, как пример неряшливого ученика и, к тому же, лентяя. Старик с трудом держался на ногах, а у старухи один глаз был вовсе слеп, на другом – бельмо, и не было с кого что-либо требовать. Он должен был им быть благодарен за то, что согласились его приютить, несмотря на все трудности и заботы, которые он прибавлял к их и так нелегкой жизни. Ужасный запах продолжает годами преследовать его – запах мха и сырости на стенах, старческой одежды, заплесневевших остатков еды, смешанный с запахом лекарств и копоти керосиновой лампы, вонюю селедки, туалета и ночных горшков. У доктора Ландау, наоборот, он боялся замарать прикосновением руки предназначенный ему столик, привнести в постельное белье запахи дома «Красноухого», который не выветривался из ноздрей, стеснялся дыр в носках и латок на брюках. Одно лишь оставалось постоянным – чувство бла-

годарности хозяевам. Как это случилось, и чем заслужил он, маленький грязнуля, быть принятым в доме доктора Ландау с такой радостью и симпатией?

Но ведь Хемед не был приживалой, перекаати-полем от стариков к доктору Ландау, а затем – в подвал «Долгожителя». Он живет в своем доме, и мать его любит больше всех остальных детей. Только в определенные часы ему запрещено шуметь и переворачивать все в доме, ибо мешает человеку, который не обязан терпеть избалованного ребенка. Даже если он его отец. И вовсе не должен баловать его в дополнение к матери, воспитать в Хемедe маленького тирана, превратившего отца, мать и старших братьев в своих рабов, подчиняющихся всякой его прихоти. Тем более, если это отчим. Пусть ребенок себе бесится вне дома, на игровой площадке или в любом другом месте, где играют дети. Здесь он тоже мешает. Здесь тоже не игровая площадка, и я тем более не обязан терпеть его выкрутасы, но нельзя подвергать его опасности. Выгоню его отсюда, тут же на него набросятся братья и сбросят его в пропасть, как бросили братья библейского Иосифа в яму при первой подвернувшейся возможности.

Таммуз заглядывает в отверстие построенной им башни. Не хватает одного кубика, чтобы завершить ее строительство. Краем глаза он держит в поле зрения головы двух братьев, которые то выглядывают, то прячутся за стволом одной из сосен в роще. Он ощущает их присутствие все время, хотя

и погружен в свое строительное дело. Они, вероятно, тоже заметили его взгляд и, подобно теням, перебегают от сосны к сосне, приближаются, петляя, убегают, но не решаются тронуть Хемеда, пока Таммуз его защищает.

– Иди сюда, – Таммуз зовет малого и снимает часть кубиков с вершины сторожевой башни, чтобы разговаривать с ним, не поднимаясь с места, – я хочу тебя о чем-то спросить.

Хемед прекращает пыхтение паровоза и замирает в сомнении:

– Ты же сказал мне оставаться в углу. Далеко от тебя.

– Да. А теперь я велю тебе прийти сюда.

Хемед тянет за воображаемый шнурок, издает гудок, меняет путь, и поезд в полную силу движется к Таммузу.

– Ну, не так близко. Ты что, не видишь, что почти разрушил стену дворца? Полшага назад. Так. Теперь сядь и скажи мне: ты ненавидишь его, потому что он не дает тебе играть в доме?

– Он не разрешает мне играть в доме с двух пополудни и до шести вечера.

– Хорошо. До обеда ты в школе. Ты, вероятно, во втором классе?

– В третьем.

– Так. Значит, до обеда ты учишься в третьем классе, и тебя дома нет. После шести вечера ты ужинаешь и идешь спать.

– Я никогда не иду спать сразу же после ужина.

- Даже если ты не идешь спать сразу, есть у тебя достаточно времени для игр – с двух до шести, но тебе это запрещено.
- Иногда можно.
- Значит, иногда он тебе разрешает, а иногда запрещает.
- Иногда его нет дома.
- Но когда он дома, разрешает тебе иногда играть?
- Да, разрешает. Но кричит на меня, если я играю.
- И ты не ненавидишь его, когда он кричит на тебя и не разрешает делать то, что ты хочешь?

Хемед пожимает плечами, и губы его искривляются, выражая неясное – то ли да, то ли нет. Он не знает, что ответить.

«Почему, черт побери, занимает меня вообще то, что он чувствует или не чувствует к тому человеку, который не разрешает ему играть? – удивляется про себя Таммуз, и злость на самого себя пронизывает его насквозь. – Не знаю ни этого человека, ни его имени. Не видел его и никогда не увижу. Даже не знаю, кем он приходится Хемеду. Но если бы и знал, это ничего не меняет. Что он мне? Даже если бы он был моим другом, даже если бы это был я сам, – он это я, а я это он – чего это я занимаюсь чувствами этого проказника? Именно сейчас, в этот миг, когда два его брата-хулигана готовы напасть на меня?»

Тень проходит по стене из кубиков справа налево, за нею крадется еще тень – слева направо. Таммуз всем телом наклоняется вперед перед рывком. На миг замирает и говорит

Хемеду:

– Слушай, ты спрячешься здесь, за стеной, которую я построил. Не двигайся с места, пока я их не выгоню. Они еще могут схватить тебя и сбросить вниз.

Таммуз не успевает завершить фразу, как Хемед прячется за ним, как будто заранее знал, что Таммуз скажет. Последний совершает рывок, и в этот миг левая нога его цепляется за что-то, и он растягивается на земле, сильно ударившись, и мысль молнией проносится в сознании: это он зацепился за ногу Хемеда. Тот не успел уйти в укрытие и, по всей вероятности, нечаянно подставил ему подножку. Два брата, которые улепетывали, увидев, что Таммуз упал, возвращаются, набрасываются на него и волокут к краю пропасти. Таммуз борется с ними из последних сил. Ему удается, несмотря на боль в ребрах и пыль, забившую рот и ноздри, перевернуться, сбросить их с себя и ухватиться за трубу. Теперь он видит Хемеда, бегущего ему на помощь. Но в последний миг происходит нечто неожиданное. Вместо того, чтобы наброситься на тех двух, он бежит прямо на Таммуза и ботинком ударяет его по руке, держащейся за трубу. От сильного удара рука разжимается, и Таммуз падает в пропасть до того, как появляется второй ботинок Хемеда, нацелившийся в его лицо: подошва ботинка Хемеда пролетает над волосами Таммуза и ударяет в пустоту, где-то там, в высоте, далеко от головы.

Так и не знаю дальнейшую судьбу этого киносценария и вообще – продолжал ли Таммуз писать и другие сценарии

после отъезда из страны. Тот сценарий он показал мне во время одной из последних встреч, а затем его и след пропал, и не получил я от него ни одной открытки, ни одного слова, ни привета, переданного кем-либо из тех, кто побывал во Франции. Не знаю, пытался ли он перед отъездом найти в Израиле возможность снять по этому сценарию фильм. Все те немногочисленные кинооператоры, владеющие необходимой техникой, были по горло заняты актуальными историческими событиями, и количество пленки недостаточно им было даже для того, чтобы снять уход британцев из страны. В свое время, когда я читал сценарий в присутствии Таммуза, я предложил ему назвать его «На крыше» вместо «Видения» или «Откровения», которые он предлагал. Они казались мне неподходящими или, во всяком случае, лишенными ясного и определенного смысла для зрителя тех лет. Сценарий напомнил мне выражение, слышанное мной на идиш: «Сумасшедший, слезь с крыши!» Взбирающийся на крышу считался сумасшедшим. Тот, кто тронулся умом, начинал лезть на крышу. Ну, и всякие лунатики или получившие вместо солнечного лунный удар, не удостоились, как в свое время Габриэль Лурия, лунного благословения, освящения начала месяца, а лишь лунного проклятия.

Через тридцать пять лет я рассказал Яэли Ландау сценарий-сон Таммуза. Мы встретились с ней в Иерусалимском клубе работников искусств на выставке её работ. Она оцепенела и сказала:

– Это ужасно, ужасно! Ведь это именно то, что может случиться со всеми нами, если мы будем так продолжать.

– Что означает это «если мы будем так продолжать»? – спросил я её. Выяснилось, что сценарий вызвал в ее сознании абсолютно другие вещи, не те, что я смог понять, почувствовать, ожидать в те дни, когда Таммуз написал свой сценарий.

– Если мы будем продолжать им потворствовать.

Ответ был слишком общий, который можно было толковать и так, и этак. Но так как пришла моя очередь остолбенеть, словно бы у моих ног раскрылась пропасть, я не стал добиваться у нее более ясного ответа, а предпочел ухватиться за крепкий мост, который был успокаивающим, общечеловеческим: была это мысль Паскаля. Привязался я к ней в минуту потрясения нарождающимся модернизмом, особенно по отношению к образу жизни Паскаля, который он охарактеризовал следующим образом: «Люди должны быть до такой степени безумны, что это будет иная форма безумия – не быть сумасшедшим».

Что ж, как говорится «несчастье других несет и утешение: не только мы». Но так как у нас нет другого места на земле, кроме этого уголка на крыше, не будем потворствовать тем, кто считает себя в своем уме и мечтает сбросить нас в пропасть. Так, во всяком случае, я понял реакцию Яэли Ландау.

Когда, вернувшись в Иерусалим, я неожиданно встретил ее напротив горы Сион, отношения наши приняли непред-

виденный оборот, и это потому, что, вне всякого сомнения, она открылась мне в новом свете, абсолютно отличающемся от цветных потоков, которые высвечивали её, кружащуюся в комнатах Еврейского агентства в Париже. Там явно что-то накипело в ее сердце на меня, а в моем – на нее. Она сердилась на меня своими разговорами, мнениями, вообще своим поведением, особенно, как мне казалось, пренебрежительным отношением к моему давнему школьному другу Арику Высоцкому, который годился ей в отцы. Даже торопясь все приготовить к поездке в Израиль и желая выяснить личность человека, который мог быть Таммузом, я не хватал за воротник Арика, вечно испуганного и озабоченного делами конторы. Ждал, пока он освободится. Яэли же крикнула ему с верхних ступенек:

– Одну минуту! Я забыла, что должна получить почту.

Голова Арика вернулась в проем двери, и на лице его была растерянная заискивающая улыбка.

– Очень извиняюсь. Я тороплюсь на Восточный вокзал и могу опоздать на поезд.

– Да что ж это такое?! – возмущившись, начала она ему выговаривать, но голова его уже исчезла. С рассерженным лицом она спустилась на три ступени, чтобы поднять уведомление о почте, которое швырнула Арику. Все молодые машинистки в офисе уже привыкли к тому, что Арик согласился выполнять функцию ее личного посыльного, хотя это вовсе не входило в его обязанности. Но вот же, впервые возразил,

и она оскорбилась, разгневалась, уверенная в своем праве сделать ему публичный выговор, тому, кто ее обожал и был рад услужить ей в любой мелочи. Главе нашего парижского отделения Еврейского агентства, который в этот момент вошел, она послала улыбку прощения и сказала:

– Ладно, Арик Высоцкий все же милый старик, я отношусь к нему с большой симпатией.

– Ты меня обижаешь, – ответил ей шеф широкой улыбкой, погладив ее у талии рукой, свободной от портфеля, с которым он поднимался по лестнице, – если господин Высоцкий в твоих глазах старик, так и у меня нет шанса. Я ведь приближаюсь к его возрасту, ну, с разницей в пять, семь лет...

Я не услышал, что она ему ответила, но оба весело захохотали. Шеф ей весьма симпатизировал, можно сказать, более, чем всем работникам. Она, по сути, была его воспитанницей. Все работники ее любили, кроме нескольких девиц, которые терпеть ее не могли и обсуждали исподтишка ее недостатки. Говорили, что она избалованная эгоистка, что вовсе не столь приятна, как это кажется, что подхалимничает перед важными лицами до тех пор, пока можно извлечь от них пользу. Короче, рассыпается лестью перед вышестоящими и топчет тех, кто стоит ниже, как будто она какая-то принцесса, из милости иногда дарящая улыбку презренным и униженным. Но все это было несправедливо по отношению к ней. Известно, что такое женская зависть. Я видел ее в работе: она выполняла ее не только как следует, но отдавалась ей

целиком, из чувства ответственности, не чураясь никакого задания. Оставалась после работы в офисе, чтобы завершить в свободное время какое-нибудь письмо, которое запросто можно было написать завтра. Если говорить о том, что мне в ней не нравилось, так это определенная сухость, этакий сухой твердый орешек, вокруг которого обрастал плотью образ молодой израильянки, красивой, цветущей, кожа которой поблескивает загаром, и рыжие волосы ниспадают волнами, и голубые глаза сверкают. Движения ее решительны и энергичны, голос ее звонок и высок. В первый миг увидишь ее – прелесть и мягкость как бы летучей женственности кажется податливо текущей мёдом и заставляет биться твое сердце. Лишь до того, как ты к ней обратишься и... наткнешься на кремень. Но в этом она вовсе не единственная в своем роде, наоборот, одна из многих, представляющих особую породу молодых израильянок, на которых натыкаешься в армейских и судейских офисах, в отделениях банков. Именно в офисе, к примеру, командира полка, или в банке место такой энергичной, педантично-сухой деятельности, и благо, что есть у нас такие девушки, умеющие, как сегодня они выражаются, «поднять и закрыть тему». Ох, тема, тема. Со времен Шестидневной войны выражение это захватило всех, властвует над всем, что не на своем месте, искажено и излишне, начиная с эпидемии вшей и кончая членами Кнессета, министрами правительства и президентом государства. С тех пор любой важный человек, раскрыв рот,

тотчас коснется «темы». Он займется «темой» вшивости в школах. Он поднимет «тему», касающуюся системы выборов в Кнессет. Он закроет «тему» поведения министра религии, коснется «темы» кровати жены президента государства. На очередном заседании Кнессета, посвященном «теме» бюджета, он скажет всё, что у него накопилось по «теме» кварталов бедноты и подорожания горючего.

Каждый раз, когда я оказываюсь по другую сторону стола, за которым сидит такая, берущая «тему за рога» девушка, я испытываю некий комплекс неполноценности. Я становлюсь пунцовым, всё мое нутро опалает огнем. Я представляю в своем воображении, насколько это было бы легче и приятней, если бы она отнеслась ко мне приветливо. Или хотя бы, если природа ее лишена приветливости, вела себя с терпеливостью и уважением, как полагается вести себя по отношению к человеку в годах, который для нее просто старик, а не гнусавила, придавая своему голосу важность, открыто выражая нетерпеливость занятой женщины, не видя сидящего перед ней, а лишь какие-то цифры. И всё же, после всего, я успокаиваю себя: в конце концов, перед тобой сидит красивая девушка, что уже само по себе радует сердце, некий образец создания, подходящего к месту. Беда же, честно говоря, начинается, когда это деятельное молодое существо решает внезапно или не внезапно, а после «многих колебаний и глубокого ознакомления с “темой”», посвятить весь неудержимый напор своей энергии духовности человека тому, что

он – плод духа и мысли в общем, и искусства – в частности. Это и привиделось Яэли Ландау, когда она, решив стать студенткой, приехала в Париж с целью изучения истории искусства и философии эстетики. В Еврейском агентстве же она работала на неполной ставке, зарабатывая на жизнь, пока не завершит учебу.

Такая вот Яэли Ландау, твердо решившая изучить искусство, тотчас же судит категорически, приговоры ее жестки, без всяких скидок, она готова в любую минуту, немедленно, броситься в бой, и горе стоящему на ее пути противнику: она изничтожит его, сотрет в прах и пыль. Но кто он, этот противник, где он находится, в каком направлении искать место, где он устраивает опасную засаду? Вот это она и конспектирует самозабвенно из уст наиболее прогрессивного и невероятно дерзкого лектора в среде теоретиков концептуального искусства. Потому он ее особенно выделяет и следит, чтобы она не уклонилась ни вправо, ни влево от тончайших деталей последних открытий в данной области и сражалась жертвенно и бескомпромиссно за каждую точку над «и».

Что же касается меня – то я весьма был бы рад, если бы она вела свои войны в стенах учебного заведения, на уроках и практических занятиях, и даже вне аудитории – в любом месте в этом мире, где ей захочется. Но с одним условием: чтоб я там не был, чтобы происходило все за пределами моего слуха, ибо нервы мои уже не выдерживают. Особенно в эти последние дни достаточно ей, Яэли Ландау, бросить

предложение, в котором есть даже слабое касание «темы искусства», как я обращаюсь в бегство. Более того, даже если она не в комнате, а ее безапелляционные приговоры в области искусства доносятся из-за перегородки – я ведь не столь важный сотрудник Еврейского агентства, чтобы иметь свою отдельную комнату и запираеть ее на ключ, а место мое отделено перегородкой от машинисток, – нервы у меня начинают пошаливать.

Возникает неодолимое желание заткнуть ей рот и убежать – куда глаза глядят. Я, конечно же, стараюсь проявить максимум сдержанности, чтобы не сорваться. Иногда мне удается молчанием, или притворством человека, который не услышал, или согласным покачиванием головы неясно чему, увести ее от «темы искусства» к мелким каждодневным делам нашей конторы. Иногда я пускаюсь на уловки: к примеру, хватаю телефон, якобы вспомнив о необходимости важного разговора, выбегаю наружу остановить кого-нибудь из вышедших работников, которому забыл сообщить нечто срочное, хватаюсь за голову, жалуясь на головокружение, или просто бегу в туалет. В эти горестные минуты я столбенею перед сжигающим огнем искусства, пламенеющим в ней до такой степени, что она жертвует, я бы сказал, семенами самых сокровенных своих мыслей впустую. Ведь они не достигают моего слуха, человека, который, по ее мнению, принадлежит прошлому, ничего не понимает в новшествах, и – что особенно неприятно – отвратителен ей. Ну, быть может, сло-

во «отвратителен» слишком сильное. Пожалуй, я вовсе ей не отвратителен. Иногда мне даже кажется, что она почему-то ищет моей близости, но при этом чувствуется, что мое присутствие ее напрягает, что ей явно некомфортно при мне, что-то мешает ей вести себя естественно и говорить то, что душа ее желает. В общем-то, меня не удивляет, что она испытывает ко мне неприязнь с первого мига нашего знакомства. Я ведь обидел ее в присутствии многих, да так, что лицо ее побелело, вернее, в присутствии машинисток, захохотавших во все горло. Я вовсе не собирался ее обижать. Наоборот, хотел высказать ей любезность, похвалу, выше которой для женщины быть не может. И вовсе не потому, что решил ей польстить или понравиться. Просто такой она возникла перед моими глазами. Слова вырвались вопреки воле из моих уст, ибо я был явно ошеломлен. В первый день моей работы, в комнате машинисток, я замер, увидев ее, и услышал со стороны собственный свой голос:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.